

А. А.  
БЕСТУЖЕВ-  
МАРЛИНСКИЙ

*Сочинения*



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Второй вечер на бивуаке[1]

Орудий заряженных строй

Стоял с готовыми громами;

Стрелки, припав к ним головами,

Дремали, и под их рукой

Фитиль курился роковой.[2] Жуковский

\* \* \*

Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах\*\*\*. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер пронизал насквозь. Офицеры лежали вокруг дымного огня. Конноартиллерийский поручик сидел на колесе орудия; подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.

– Какое вещественное созданье человек! – начал штабс-ротмистр Ничтович. – Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились; подул холодный ветер – и вместе с небом нахмурились наши брови, и говоруны сидят будто в Пифагоровой школе молчания.[3]

– Не ручаюсь за других, – возразил Лидин, – но покуда старость и подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то, по мне, хоть трава не расти: снег, град, дождь, вьюга – все праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все веселы назло мне, и я становлюсь прихотлив, как невеста.

– Следовательно, – сказал штабс-ротмистр, – погода действует на тебя в обратном порядке, но тем не менее влияние оной существует.

– Не думаю, – отвечал Лидии, – это чувство есть следствие внутренних, а не внешних ощущений, и до тех пор будет иметь место, покуда перевес останется на его стороне. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя... но почему люблю я это?

– Потому что ты чудак, – перебил штабс-ротмистр. – Впрочем, как сам изъясняешься, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю, как Вернетову картину[4] или Моцартову ораторию.

– Прошу извинить, господин штабс-ротмистр, я люблю наслаждаться ею на чистом воздухе, в лесу, на горах. Но возвращаюсь к причине. Я люблю это по приятным воспоминаниям, которые рождаются во мне от бури. Однажды, например... ах! для чего это было только

однажды!..

– Для того, – перебил Ничтович, – что в Кургановой арифметике[5] весьма замысловато сказано: единожды един – един, а не два.

Все засмеялись; но Лидин с улыбкою продолжал:

– Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание: оно вырвалось из сердца, а сердце плохой арифметик.

– Не знаю, каково твое, – отвечал, смеючись, Ничтович, – но мое даже под ядрами так верно отсчитывает шестьдесят секунд в минуту, как патентовые часы.

– Во время сражения мне некогда бывало заниматься проверкою своего пульса, – хладнокровно заметил Лидин.

Это замечание задело за живое штабс-ротмистра; он уже с приметною досадою спросил:

– Конечно, ты за эскадроном в замке строил воздушные замки?

– Дурная игра слов, Ничтович! – сказал подполковник дружески, желая замять ссору, которая бы наверное кончилась саблями. – Пустая игра слов, да и предмет ее не слишком хороший. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги; но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.

– Пусть мне французский флейтщик пред разводом выбреет усы, если это неправда! – вскричал ротмистр Струйский, который, лежа на попоне, казалось, слушал только, как растет трава. – Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шутки в дело... Ну, други! мировую!.. А если ж вы не поцелуетесь, то ты, Лидии, не зови меня никогда в секунданты, а ты, Нилтович, вперед не узнаешь, длинны или коротки стремяна на моем Черкесе, когда нужно будет понаездничать.

– Помилуй, Струйский, с чего ты взял, будто мы ссоримся! – сказал Ничтович, подавая Лидину руку.

– Ну полно, полно! – продолжал ротмистр. – Кто старое помянет, тому глаз вон.

– Я это всегда говорю своим заимодавцам, – сказал Лидии, но, уважая ротмистра, он сжал руку Ничтовича.

– Надеюсь, однако ж, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился и Лидин, доскажет его друзьям своим? – сказал, Мечин.

– О, без сомнения, подполковник! Я так люблю говорить о милой Александрине, что очень рад случаю.

– Воля твоя, Лидии, – возразил подполковник, – ты сбиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не об ней, а об ненастной погоде.

– Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет пас к тому же... Надобно вам знать, друзья мои, что, живучи в златоверхой Москве, влюбился я...

– Знаем, знаем в кого и у кого, как по формулярному списку, – подхватил Ничтович, – благодаря твоей нежности я могу описать ее рост, лета и приметы, до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам об ней наговорил столько...

– Об ней можно говорить, может быть, слишком много, но довольно наговориться об ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, Ничтович, и потому скучаешь рассказом; но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность...

– Бьюсь об заклад, – вскричал Ничтович, – что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом!

– Как умна, как чувствительна!..

– К теплу и холоду, – прибавил ротмистр, одувая фитиль, которым собирался закурить свою трубку.

– Вы вечно шутите, Струйский; но что она любезна в самом деле, это больше всего доказывается верностию такого ветреника, каков я.

– Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены, – промолвил ротмистр, – тем более что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме этой пушки.

– Это единорог, – заметил артиллерийский офицер.

– Тем еще безопаснее! – отвечал ротмистр.

– Но тем хуже, что вы не даете мне досказать моей повести. Подполковник, шутя, возгласил: «Смирно!», и, по долгом смехе, Лидин продолжал:

– Я уже познакомился со всею роднёю Александрины: ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и пристяжных братца, слушал роговую музыку дядей и, что всего несноснее, пересуды тетюшек. Гостеприимство есть всегдашняя добродетель моих земляков, и, наконец, меня пригласили приехать к ним в подмосковную. Нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю, что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон в то время, будто юнкер, который не в форме попался своему генералу, что у меня, наконец, вырвались кой-какие намеки и что меня слушали благосклонно. Вечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами собирались в город. Я раскланялся, со вздохом взлез на дрожки, и чрез минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды.[6]

На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье: встречаю дормез[7], везомый шестью заслуженными конями, и в этом степенно колыхающемся дормезе – Александрину со всем причтом. Между тем небо облоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. «В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках», – было первою моею мыслью; но быть вместе с нею, так близко подле нее, – вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дормезе. Но как залететь в него? Мы еще не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить, а приговориться к этому совестно. Однако ж попытаемся. Проезжая – мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих; но это не помогло; отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути. Препятствия поджигают желанья, и я решился на отважную выходку.

«Пошел по всем!»

«Я и то насилу держу коней, – отвечал мой кучер, – если их пустить, они растреплют нас».

«Пошел, – говорю я, – не рассуждать, а делать!» И с этим словом вся тройка подхватила бить, понеслась, – дрожки, звеня, запрыгали по кочкам и выбоям, вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень – крак! – ось пополам, колесо вдребезги, а я вместе с кучером отлетел сажени на три в ров.

К счастью, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтоб сделать занимательнее сцену. Через две минуты открываю глаза – и вижу Александрина в обмороке от испугу; мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок, и вот, после многих расспросов, приглашений и отговорок, я влезаю, охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И вот, наконец, я подле милой Александрины!.. У меня занялся дух. Темнело, дождь лил ливнем; карета, вследствие моего трактата об электричестве и опасности в грозу скоро ездить, двигалась шагом; отец и мать дремали и только при сильных ударах грома пробуждались – один, чтобы зевнуть, другая, чтоб испугаться. Александра молчала, а я не смел говорить, потому что голос мой дрожал, как ненатянутая квинта[8]; зато я не сводил глаз с прелестного лица своей соседки, ловил каждую черту, каждое выражение, каждый абрис его, исчезающий в темноте, каждый взор, когда молния облескивала внутренность кареты. Я вдыхал какую-то томную свежесть с щек ее, я слышал биение ее сердца, я чувствовал, как мое неровное дыхание колебало ее локоны. Друзья мои! я молод, но я жил, я чувствовал, я наслаждался; но никогда не испытывал высшего наслаждения, как в этот раз! Одним словом, когда есть счастье в жизни, – я был счастлив, потому что не имел никакого желания! Неужели, Ничтович, ты будешь спорить, что буря не может доставить удовольствия по воспоминаниям?

– Сушиться от дождика воспоминаниями или, что еще хуже, для них мокнуть – для меня столько же смешно, как уверение, будто скучать весело! Что касается до меня, не согретого пылким воображением, я бы променял теперь две дюжины золотых своих поминок на рюмку бургонского.

– Я вас беру на слове, штабс-ротмистр! – сказал артиллерийский офицер.

– За вином дело не станет. Эй, фейерверкер! принеси сюда из зарядного ящика две бутылки, те, которые лежат в крышке на левой стороне.

– Да здравствует артиллерия! – воскликнул Струйский, отбивая саблею бутылочное горлышко. – Ну кто бы иной умудрился соединить в одно место и смертные снаряды и жизненные припасы? Теперь предлагаю тост за твою Александрина!

Лидин положил руку на сердце, высоко поднял стакан, по-рыцарски выпил его и разбил вдребезги о шпору.

– Прошу извинить, господа, что я разбил последний хрустальный стакан; теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты!

Бургонское оживило зябнувших офицеров, донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь, и похвала вину не переставала.

– Какая тонкость! – говорил ротмистр, высасывая последнюю каплю.

– Какой букет! – сказал Ничтович, нюхая опорожненную бутылку.

– Вот, Лидин, такое благовонное воспоминание – приятно!

– Это вино, – сказал артиллерист, – доставляет мне еще приятнейшее воспоминание, которое делает честь великодушию женского пола, – воспоминание, за которое едва не заплатил я жизнью. Если господам угодно будет послушать хоть краем уха, я расскажу, как это случилось.

Три дни тому назад я был послан фуражировать в окрестности Сен-Дизье. Неприятеля близко не чаяли, и потому мне дали только пять человек ездовых. Я отправился прямо в деревню Во-сюр-Блез, где уже два раза проходила и стояла наша рота и где жители

принимали нас очень ласково. Братская привязанность привлекала меня к Генриете, дочери мэра; она премиленькое, преневиное создание. Меня утешали ее детская откровенность, ее неизменно веселый нрав. Бывало, когда я задумаюсь, она резвилась вокруг меня и шутя разглаживала морщины на лбу моем.

«Развеселись, добрый русский!» – говорила она, и я невольно улыбался ее приветливости и в ее светлых глазах искал – и находил – забвенье всего неприятного. Генриета выбежала и тогда меня встретить, играла с моею лошадью, пела, прыгала, как ребенок, и, наконец, унесла у меня саблю. Мэра, отца ее, не было дома. Послав за ним канонера[9], я велел остальным кормить коней и присматривать фуража, а сам пошел наверх, в обыкновенную свою комнату. Мне принесли вина, но я едва выпил стакан его, едва успел сесть на канapé, как глаза мои сомкнулись, голова упала, – я погрузился в глубокий сон. Не помню, долго ли спал я, утомленный переходами и двухдневною бессонницею; знаю только, что я пробудился от голоса, который называл меня по имени. Открываю глаза: Генриета, бледная, трепещущая, стояла надо мною.

«Беги, русский! – сказала она замирающим голосом. – Спасайся, или тебя убьют! Уже все готово... они собрались... твои солдаты заперты... Но я погибла, если узнают. Беги, умоляю тебя, беги!..»

И Генриета исчезла, как привидение. Русскому офицеру бежать! Нет, этого не будет! Я вскочил, кипя гневом, заткнул за портупею пистолеты и потихоньку сошел вниз. В зале слышались многие голоса... Прикладываю ухо: одни хотели убить нас, другие советовали отдать в плен своему отряду, который, по их словам, должен быть недалеко.

«Чего вы боитесь, – говорил мэра, – отомстить смертью за гибель отцов ваших и братьев, погубленных русскими? И почему эти будут счастливее других, впадавших к нам в руки? Если вы не отделаетесь от этих, – эти проложат дорогу тысячам грабителей и ваши запасы, ваши драгоценности ненадолго скроются под кровлею церкви от их поисков. Впрочем, умертвить их необходимо для собственной безопасности, потому что одна смерть может ручаться за тайну; иначе они из самого плена накличат на нас мщение своих!»

Судите, каково мне было слушать этого оратора, но я, обрадованный открытием запасного их магазина, решился на все, только бы доставить роте фуража, тем скорее, что у нас такой был в нем недостаток, что солдаты кормили лошадей хлебом, которого и сами они не ели досыта. Вхожу... и если бы Конгревова ракета[10] упала тогда между заговорщиками, то, верно бы, она перепугала их менее моего появления.

«Господин мэра, – сказал я, – какой-то шалун, вероятно ошибкою, запер в конюшне солдат моих, – прикажите их отомкнуть, да теперь же, сейчас, сию минуту!»

Грозный взгляд, брошенный на безоружных храбрецов, и движение руки моей к пистолету уверили их, что я не шучу.

«Прошу вперед, без церемонии...» И вот между толпою зевак, в конвое ездовых моих я двинулся к церкви.

«Звонарь! отпирай; а вы, господа, возьмите свечки, проводите меня на чердак и подивитесь чутью русских».

Между тем я поставил двух рейтаров[11] у входа, еще двух на разные дороги, с приказанием по первому выстрелу скакать одному в дивизионный штаб, другому в роту и объявить об опасности. С остальными взобрался я наверх. Представьте себе, что закромы насыпаны были овсом и житом до кровли; все лучшее имение крестьян было снесено туда же. Куча сундуков, ящиков, парчей, золотых и серебряных вещей; но что всего более поразило меня – это были русские ружья, кивера, уланские пики, сабли, каски, – вероятно, несчастных

земляков наших, заплативших жизнь за неосторожность. Я содрогнулся, – по исследованию было не у места. В это время поселяне, воображая, что мы станем грабить их драгоценности, взволновались, ударили в набатный колокол и с воплями окружили церковь. Крик «A bas les Russes! Mort aux brigands!»[12] – вызвал меня на колокольню, и я насилу мог добиться, чтоб меня выслушали.

«Французы! – сказал я, – мы в вашей власти; но ваш пастор, ваш мэр – в моей, и они жизнь заплатят за малейшее насилие, да и мы четверо не даром продадим свою. Этого мало! Часовые мои дадут знать о том в армию, и мщение русских разразится над вашими головами. Я пришел не грабить ваше имущество, но взять немного овса и хлеба, за что государь наш заплатит по моей расписке. Отвечаю жизнью, что все до последнего волоса будет цело».

Это успокоило поселян. Я велел мэру приказать в полчаса доставить восемь подвод и, нагрузив на две оружия, чтобы не оставить им средства к вооружению, а на прочив шесть овса, хлеба и немного вина, отправил их под конвоем в роту. Проводив глазами обоз мой, я спустился с опасной кафедры своей, простился с ропщущими жителями и, поблагодарив поклоном великодушную Генриету, поскакал назад. Французы вошли в Во-сюр-Блез на наших хвостах...

– Кто идет?! – закричал часовой гусар на ближнем ведете. – Стой, или убью!

Ему тихо отвечали пароль и лозунг. Это был их поручик Волгин, ездивший осматривать цепь.

– Господин подполковник! пикеты и ведеты стоят исправно. У неприятеля движений никаких не видать.

– Нет ли чего нового? Не слышно ли об деле? – спросили Волгина вдруг все офицеры.

– Радуйтесь, господа, – отвечал поручик, не слезая с коня, – я привез к вам хорошие вести. Наполеон уже в Сен-Дизье, и нашему маленькому корпусу достанется честь задержать всю армию, которая на нас опрокинется, куда союзники идут на Париж. Говорят, у государя навернулись слезы, когда он простился с нами. Друзья! вряд ли нам выстоять живыми, зато об нас вспомнят в России и от нас поплачут во Франции.

– Слава богу, – сказал радостно подполковник.

– Будет где позвенеть саблями! – воскликнул Струйский. – Смотрите, господин артиллерист, не выдайте нас!

– Не бойтесь, ротмистр! – пылко отвечал артиллерийский офицер, – Мои канониры не раз дрались банниками[13] и даром не сожгут зерна пороху. Только вы, когда у меня не станет картечь, поделитесь со мною подковами и пуговицами, – их много на ваших доломанах, а там будет довольно тепло, чтобы драться нараспашку. Впрочем, когда до того дойдет дело, я буду стрелять последними своими франками!

Офицеры шумели и радовались, будто накануне гулянья; забытый ими огонь спадал и только, вздуваемый ветром, сыпал искры и порою освещал дремлющих гусар, половину верхами, половину у ног коней.

– Отчего вы так грустны? – с участием спросил Лидин у подполковника, который неподвижно стоял, опершись на длинную саблю свою, ничего не видя и не слыша.

– Я неизлечимо болен воспоминаниями тяжелых потерь моих, – отвечал он.

– И теперь, добрый мой Лидин, мне казалось, будто я беседую с другом моим Владовым, и последнее наше свидание оживилось перед глазами моими. Это было перед Кацбахским сражением[14]. Как теперь, дул холодный ветер от севера, как теперь, туман стлался в

лощинах, и мы с Владовым, покрытые одною буркою, безмолвно лежали у огонька.

«Верить ли ты предчувствию?» – спросил он меня.

Я улыбнулся.

«Друг мой, – продолжал Владов, – ты знаешь, суеверен ли я; ты видал, боюсь ли я смерти; но теперь какой-то неотступный голос твердит мне: „Ты будешь убит!“»

Голос, которым говорил Владов, навел на меня ужас...

«Впрочем, если это предчувствие не обманчиво, – я рад: жизнь истомила меня. Не удивляйся, Мечин, что друг твой, сбросив с себя покров шуточной философии, окажется теперь в мрачном своем виде. Я не хотел двойть тоски твоей своею; но теперь, на пороге смерти, открою тебе всю душу свою... Слушай: я любил – это еще не редкость; мне изменили, Мечин, – и это весьма обыкновенная вещь; но надобно было любить, как я, чтобы почувствовать, подобно мне, всю жестокость измены. Друг! я бы простил это неопытной девушке, которая при первом трепетании сердца, при первом румянце щек уверяет себя, будто она любит, – и глаза ее говорят то, что она когда-нибудь почувствует. Я бы мог простить это ветреной кокетке, которая из тщеславия, или для забавы, твердит каждому недурному собой: „люблю тебя!“ Но могу ли извинить девушку, исполненную светлого ума, далекую от всех предрассудков, одаренную всеми качествами, всеми прелестями и душой, открытою для чувств возвышенных!.. Сходность мнений нас сблизила, пламень сердец и мечтательность породили любовь. Я уже позабыл наречие любви и потому скажу просто: мы любились, мы разумели друг друга, нас одно радовало, одно огорчало... и не раз слышал я уверения, что она может быть счастливою только со мною. И этот идеал моей фантазии – пленился генеральскими эполетами, и, этот-то ангел на земле, она – имела столько коварства, чтобы скрывать это; имела решимость меня обманывать, и в то время, когда готовилась отдать мне руку, – сердце ее принадлежало уже другому. Друг! это опрокинуло мою нравственность; я безумствовал и с этих пор возненавидел женщин. И можно ли доверять им счастье жизни, когда их мнения, их желанья, их страсти – основаны на прихоти? Для них сотворены моды, а не чувства; они умеют нравиться, но не любить; им незнакомо высокое ощущение – быть любимой человеком с благородным характером... С тех пор прошло много времени; бывало, иногда, я забывался сном надежды подле милой красавицы; бывало, какое-то сладостное чувство просыпалось вновь в груди моей, – но разум шептал: „Вспомни ее“, и я отрывал от сердца льстивую мечту и, испуганный, бежал далеко-далеко, куда глаза глядят, покуда безнадежность вновь не охватывала сердце.

Я желал отдохнуть душою между людьми, к которым принес братскую доверенность и весь жар быть полезен им. И что же? Люди отравили остаток моего покоя. Одним словом, Мечин, кто испытал измену прелестной, может быть наилучшей из женщин, тот, верно, презирает и любовь и ненависть женщин; кому случалось часто видеть и разглядеть вблизи низость и ничтожество мужчин, тот, верно, потерял уважение к человечеству, – а без этого жить тяжело, несносно».

Наутро мы были в деле. Полк три раза ходил в атаку, но Владов остался невредим. Мой эскадрон между тем послали преследовать сбитого неприятеля. Возвращаясь к полку, я отстал от фронта, чтобы напрямик проехать в штаб с рапортом. Смотрю – подле дороги лежит раненый гусарский офицер; я спешу к нему, – и что ж?.. Это Владов. Рядом с ним повержен был убитый копь его. Он сам, опершись на обломок сабли, глядел на кровь, которою исходил. Глаза его стали, лицо подернулось смертною синевою. Мой вопль возбудил друга: он приподнял голову, улыбнулся, хотел подать мне окровавленную руку, но она упала как свинцовая.

«Друг! – сказал он тихо, – мое предчувствие сбылось – мое желание исполняется, я



умираю...»

Он замолк; кровь проступала сквозь ментик, – я от ужаса и сожаления не мог промолвить слова.

«Смотри, – сказал он опять, – смотри, Мечин, как капля по капле источается во мне жизнь, как постепенно густеет и холодеет кровь моя; еще капля, еще минута – и меня не станет! Люди говорят, будто умирать тяжело; но прошедшее и будущее принадлежит не нам, а терять настоящее ужели мы не привыкли?..»

Он стихал, я плакал навзрыд; и мог ли не плакать я, когда мой ангел-утешитель, тот, который был для меня все на свете, покидал меня?

«Не плачь! – продолжал он, тяжело переводя дух. – Не жалею меня, потому что на земле я жалею только о дружбе. Я не умел жить, зато умею умереть...»

В это время я подложил ему под голову ташку[15] свою, чтобы ему было покойнее... и глаза Владова засверкали, упав на вышитого орла.

«Россия!.. родина!.. – вскричал он. – Мечин, прости...»

## Примечания

1

Второй вечер на бивуаке. Впервые – в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823 год, ч. XXIII, № 7, за подписью: Александр Бестужев.

2

Эпиграф взят из послания В. А. Жуковского императрице Марии Федоровне «Подробный отчет о луне» (1820). Первая строка у Жуковского читается иначе: «Там пушек заряженный строй...»

3

Пифагорова школа молчания... – Среди декабристов было распространено учение Пифагора и пифагорийцев, проповедовавших организацию сект для «общественного блага», самовоспитание в духе уединения, самовоздержание, умение не проливать слез и не жаловаться в несчастиях, не показывать страха и слабости в опасностях. На первом месте был обет молчания, умение хранить тайну. Здесь выражение употреблено иронически.

4

Вернетова картина. – Верне Клод Жозеф (1714—1789) – французский художник – пейзажист, маринист.

5

...в Кургановой арифметике... сказано... – Н. Г. Курганов (1726—1796) – русский ученый и писатель, автор «Универсальной арифметики» (1757).

6

...замок Армиды. – Армида – героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), красавица, удерживающая героя поэмы Ринальдо своими чарами в волшебном саду.

7

Дормез (фр.) – громоздкая карета.

8

Квинта – самая высокая струна в музыкальных струнных инструментах.

9

Канонер (канонир) – пушкарь, солдат-артиллерист.

10

Конгревова ракета – ракета, изобретенная английским инженером У. Конгривом (1772—1828).

11

Рейтары – всадники.

12

Долой русских! Смерть разбойникам! –

фр.

13

Банник – цилиндрическая щетка на длинной палке для чистки оружейного ствола.

14

Кацбахское сражение. – 14/26 августа 1813 г. при речке Кацбах в Силезии генерал Блюхер, командующий силезской армией, одержал победу над французским корпусом под командованием генерала Макдональда.

15

Ташка – кожаная полевая сумка у гусар, носимая сзади на левой стороне.